



# Андрей Платонов

## Ювенильное море

*ФТМ*



Андрей Платонов

**Ювенильное море**

«ФТМ»

1934

**Платонов А. П.**

Ювенильное море / А. П. Платонов — «ФТМ», 1934

ISBN 978-5-4467-0433-0

«День за днем шел человек в глубину юго-восточной степи Советского Союза. Он воображал себя паровозным машинистом, летчиком воздухофлота, геологом-разведчиком, исследующим впервые неизвестную землю, и всяким другим организованным профессиональным существом, — лишь бы занять голову бесперебойной мыслью и отвлечь тоску от сердца...»

ISBN 978-5-4467-0433-0

© Платонов А. П., 1934

© ФТМ, 1934

## Андрей Платонов

# Ювенильное море

### *(Море юности)*

День за днем шел человек в глубину юго-восточной степи Советского Союза. Он воображал себя паровозным машинистом, летчиком воздухофлота, геологом-разведчиком, исследующим впервые безвестную землю, и всяким другим организованным профессиональным существом, – лишь бы занять голову бесперебойной мыслью и отвлечь тоску от сердца.

Он управился, уже на ходу, открыть первую причину землетрясений, вулканов и векового переустройства земного шара. Эта причина, благодаря сообразительности пешехода, заключалась в переменном астрономическом движении земного тела по опасному пространству космоса; а именно – как только, хотя бы на мгновение, земля уравнивается среди разнообразия звездных влияний и приведет в гармонию все свое сложное колебательно-поступательное движение, так встречает незнакомое условие в кипящей вселенной, и тогда движение земли изменяется, а погашаемая инерция разогнанной планеты приводит земное тело в содрогание, в медленную переделку всей массы, начиная от центра и кончая, быть может, перистыми облаками. Такое размышление пешеход почел не чем иным, как началом собственной космогонии, и нашел в том свое удовлетворение.

В конце пятого дня этот человек увидел вдалеке, в плоскости утомительного пространства несколько черных земляночных жилищ, беззащитно расположенных в пустом месте.

Пока пешеход спешил к тому поселению, наступил сумрак и в одном жилище зажгли свет.

Поселение оказалось усадьбой: вокруг большого двора стояли четыре землебитных дома и один большой бревенчатый сарай, обваленный по низу землей, в которых разные животные подавали свои голоса. Около сарая бегала на рыскале и бушевала от злобы собака.

На дворе повсюду пахло теплом животной жизни, Вокруг лежала смиренная смутная степь, нагретая дневным солнцем, и пришедший человек почувствовал добро здешней жизни и захотел спать.

В одном окне землебитного жилища горел огонь. Прибывший подошел к окну и увидел пожилого человека, который сидел около лампы и читал через очки старинную книгу в заржавленном, железном переплете. Он медленно шептал что-то тонкими усохшими губами и тяжело вздыхал, когда переворачивал страницу, видимо, томясь своим впечатлением от чтения.

Пешеход вошел в низкую комнату и поздоровался со старым чтецом.

– Здравствуй, – не спеша ответил пожилой человек. – Соваться пришел?

– Нет, – сказал пришедший и спросил: – Что здесь такое?

– Здесь мясосовхоз номер сто один, – сказал читавший книгу и, поглядев в страницу, прочитал оттуда какое-то очередное старое слово. – А тебе что нужно? Ты здесь, братец, со своими вопросами не суйся!

– А можно мне увидеть директора? – спросил прибывший.

– Можно, – ответил без охоты пожилой человек. – Гляди на меня – это я вот директор. А ты думал: директор здесь кто-то особенный – это же я!

Пешеход вынул бумагу и дал ее директору. В бумаге сообщалось, что в систему мясосовхозов командировается инженер-электрик сильных токов товарищ Николай Вермо, который окончил, кроме того, музтехникум по классу народных инструментов, дотоле же он был ряд лет слесарем, часовым механиком, шофером и еще кое-чем, в порядке опробования профессий, что указывало на безысходную энергию тела этого человека, а теперь он мчится в действи-

тельность, заряженный природным талантом и политехническим образованием. Такова была приблизительная тема отношения, препровождавшего инженера Вермо в совхоз.

Прочитав документ, директор вдруг обрадовался и стал говорить с гостем на историческую, мировоззренческую и литературоведческую тему. Он любил все темы, кроме скотоводства, и охотно отдавал мысль любой далекой перспективе, лишь бы она находилась на сто лет впереди или на столько же назад.

Директор почувствовал теперь даже небольшое уважение к культурному служащему ввиду того, что он не суется с мнениями, а сидит молча и слушает.

Животные давно перестали подавать голоса и задремали до рассвета в своих скотоместах. В землебитном домике, где сидели два человека, от лампы и высказанных слов стало душно, скучно, и Николай Вермо уснул на стуле против директора. Собака тоже умолкла к тому времени, не получая из степи отзвука на свою злобу, видимо, она смирилась с отсутствием врага и заснула в пустой тыкве, заменяющей ей будку. Эту тыкву совхоз вырастил год тому назад, чтобы показать ее на районной выставке как экспонат агрономического усердия. И действительно, тыква получила премию, а затем из той тыквы выбрали внутренность и сделали из нее собачью будку, поскольку кухарки совхоза отказались обрабатывать для пищи такие слишком мощные овощи.

– Ты не видел нашей тыквы? – спросил директор у Вермо; но Вермо спал. – Ты бы глянул: великое растение! Полезная площадь нашей тыквы – половина квадратной сажени. У нас на дальнем гурте целых сто штук таких выдолбленных тыкв: в них спят доярки и гуртоправы. Я целый жилкризис этими тыквами решил... Ах, ты спишь уже? Ну спи, бедный человек, а я еще почитаю...

И директор снова углубился вниманием в старинную железную книгу, излагавшую историю Иоанна Грозного, приложив к задумавшейся, грустящей голове несколько пальцев правой руки.

Через полчаса прибывший молодой человек проснулся от неудобства и засмотрелся в лицо директора.

– Что вы такое? – спросил Вермо. – Я ведь, может быть, сумею отобразить вас в звуке: я музыке учился.

– Отобрази, – с польщением согласился директор. – Я Адриан Умрищев: я должен у тебя звучать мощно. Я ведь предполагаю попасть в вечный штатный список истории как нравственная и разумно-культурная личность переходной эпохи. Поэтому ты сочини меня как можно гуще и веди по музыке басом. Я люблю оркестры! Ты что думаешь, – переменял голос Умрищев, – иль мне сподручно здесь сидеть среди животных?

– А разве нет? – удивился Вермо.

– Нет, – вздохнул Умрищев. – Я здесь очутился как «невыясненный». Как выяснюсь, так исчезну отсюда навсегда. Ты можешь или нет сочинить в виде какого-либо гула тоску неясности?

– Могу, наверно, – пообещал Вермо, чувствуя бред жизни от своей усталости и от этого человека.

Умрищев стал высказываться, как он долгое время служил по разным постам в дальних областях Союза Советов и Союза потребительских обществ, а затем возвратился в центр. Однако в центре уже успели забыть его значение и характеристику, так что Умрищев стал как бы неясен, нечеток, персонально чужд и даже несколько опасен. К тому же новая обстановка, сложившаяся за время отсутствия того же Умрищева, образовала в системе такое соотношение сил и людей, что Умрищев очутился круглой сиротой среди этого течения новых условий. Он увидел по возвращении незнакомый мир секторов, секретариатов, групп ответственных исполнителей, единоначалия и сделыщины, – тогда как, уезжая, он видел мир отделов, подотделов широкой коллегальности, мир совещаний, планирования безвестных времен на тридцать

лет вперед, мир натопленных канцелярских коридоров и учреждений такого глубокого и все-стороннего продумывания вопросов, что для решения их требуется вечность – навсегда забытую теперь старину, в которой зрел некогда оппортунизм. Втуне вздохнув, Умрищев пошел в секторную сеть своего ведомства и стал выясняться; его слушали, осматривали лицо, читали шепотом документы и списки стажа, а затем делали озадаченные, напряженные выражения в глазах и говорили: «Нам все же что-то не очень ясно, необходимо кое-что дополнительно выяснить, и тогда уже мы попытаемся вынести какое-либо более или менее определенное решение». Умрищев ответил, что он вполне ясный ответработник и все достоверные документы при нем налицо. «Все же достаточной ясности о вас для нас пока не существует, будем пробовать пытаться выяснить ваше состояние», – отвечало Умрищеву учреждение. Таким способом Умрищев был как бы демобилизован из действующего советского аппарата и попал в специальный состав невыясненных. В том учреждении, которое заведовало Умрищевым, невыясненных людей скопилось уже целых четыреста единиц, и все они были зачислены в резерв, приведены в боевую готовность и поставлены на приличные оклады. Раза два-три в месяц невыясненные приходили в учреждение, получали жалование и спрашивали: «Ну как, я не выяснен еще?» – «Нет, – отвечали им выясненные, – все еще пока что нет о вас достаточных данных, чтобы дать вам какое-либо назначение, – будем пробовать выяснять!» Выслушав, невыясненные уходили на волю, посещали пивные, пели песни и бушевали свободными, отдохнувшими силами; затем они, собранные из разнообразных городов республики и даже из заграничной службы, шли в гости друг к другу, читали стихотворения, провозглашали лозунги, запевали любимые романсы, и Умрищев, вспомнив сейчас то невозвратное время невыясненности, спел во весь голос романс в тишине мясного совхоза:

В жизни все неверно и капризно,  
Дни бегут, никто их не вернет.  
Нынче праздник – завтра будет тризна,  
Незаметно старость подойдет.

Когда-то невыясненные громадным хором пели этот романс в буднее время и вытирали глаза от слез и тоски бездеятельности. Именно этот романс они сердечно любили и гремели его во все голоса где-нибудь среди рабочего дня. После сборища невыясненные расходились кто куда мог: кто уже имел комнату, кто жил где-нибудь из милости, а наибольшее количество расходилось по отраслевым учреждениям своего ведомства; в этих учреждениях невыясненные ночевали и принимали любовниц, – один невыясненный успел уже настолько влюбиться в какую-то сотрудницу, что от ревности ранил ее после занятий чернильницей месткома. Кроме того, невыясненные звонили по казенным телефонам между собой, играли в шашки с ночными сторожами, читали от скорби архивы и писали письма родственникам на бланках отношений. По ночам невыясненные падали со столов, потому что видели страшные сны, а утром одевались поскорее до прихода служащих, выметали мусор и шли в буфет есть первые бутерброды. Когда же, бывало, вовсе ободняется, невыясненные шли в секторы кадров, к которым они были приписаны, и спрашивали замедленными голосами, уже боясь втайне, что их наконец выяснили и предпишут назначение: «Ну как?» «Да пока еще никак, – отвечает, бывало, сектор. – Вот у вас есть в деле справочка, что вы один месяц болели – надо выяснить, нет ли тут чего более серьезного, чем болезнь». Невыясненный уходил прочь и, чтобы прожить поскорее служебное время, когда его ночлежное учреждение заселено штатами, заходил во все уборные и не спешил оставлять их; выйдя же оттуда, читал сплошь попутные стенгазеты, придумывал свои мнения по затронутым вопросам, а иногда давал даже свою собственную заметку о каком-либо замеченном непорядке как единичном явлении. Некоторые невыясненные состояли в своем положении по году; таким говорили, что вот уже скоро они поедут на работу: осталось только выяснить,

почему они не сигнализировали своевременно о какой-либо опасности отставания, когда еще были в прошлом на постах, или, почему ниоткуда не видно, что он не подвергался каким-либо местным взысканиям по соответствующим линиям, – нет ли здесь скрытых признаков кумовства: именно в том, что послужной список слишком непорочный. Невыясненный начинал уже серьезно и, главное, тоскливо сознавать, что он ведь действительно смутный, невыясненный и определенно пагубный человек: что-то в нем есть такое скрытое и вредное, объективно очевидное, а лично неизвестное. Он шел тогда с горя в бухгалтерию доказывать, что два месяца не пользовался выходными днями и, получив за них содержание, направлялся к друзьям и товарищам пить пиво и петь романсы среди дня. Один из невыясненных уже настолько полюбил свою волю и безответственность, что когда его действительно куда-то назначили, сурово отказался. Он тихо сообщил про свою глубоко скрытую болезнь, которую он даже сам не чувствует, но которая, однако, в нем находится. Ему ответили, что скрывание болезни есть та же симуляция, а за симуляцию – суд; и этот невыясненный как бы сошел впоследствии немного с ума.

Сам Умрищев опростался от невыясненности лишь случайно: он вышел однажды в скучный день из учреждения и заметил, что некий человек звал взмахом руки машину. Машина к нему подъехала, и человек сел в нее для поездки. «Слушай, – сказал тогда Умрищев, – подбрось-ка и меня куда-нибудь». – «Почему?» – озадачился из машины человек. «Потому что я член союза и ты член: мы же товарищи!» Человек в автомобиле вначале задумался, а потом сказал: «Садись»; в дороге же он задумался еще более, точно вспомнил нечто простое и влекущее, как печной дым над теплым колхозом зимой.

Незнакомый человек привез Умрищева к себе в гости: жена-комсомолка дала обоим прибывшим обед и чай, а затем муж-начальник выслушал на полный желудок и сонную голову беду Умрищева. Жена при этом начала кустарно точить мужа, что он есть худший вид оппортуниста, что он потворщик рвачества и заражен гнилым либерализмом, – если так будет продолжаться, она не сможет с ним жить. Муж поник от чувствительного стыда, потому что в словах жены была существенная правда, а наутро он дал Умрищеву назначение в мясосовхоз, чтобы человек довыяснился на практической работе. Заодно муж комсомолки разверстал весь резерв невыясненных и предал суду десять служащих своего ведомства, дабы они имели случай опомниться от своих дел. Вечером же, доложив жене, муж получил от последней тот ударный поцелуй, который он всегда предпочитал иметь.

Чем больше объяснял Умрищев свое течение жизни, тем грустнее становился Вермо; даже изо рта старика, благодаря его уставшему дыханию, выходила скука старости и сомнения. Светлые глаза Вермо, темневшие от счастья и бледневшие от печали, сейчас стали видными насквозь и пустыми, как несуществующие. Прибывший пешеход участвовал в пролетарском воодушевлении жизни и вместе с лучшими друзьями скапливал посредством творчества и строительства вещество для той радости, которая стоит в высотах нашей истории. Он уже имел, как миллионы прочих, предчувствие всеобщего будущего, предчувствие, наполнявшее его сердце избыточной силой, – он мог чувствовать даже мертвое, даже основную причину землетрясения и вулканических сил, но вот сидел перед ним старый человек, который не производил на него никакого ощущения, точно живший ранее начала летосчисления. Быть может, поэтому Умрищев с такой охотностью читал Иоанна Грозного, потому что ясно сознавал невзгоду своей жизни – ведь все враги сейчас сознательны – и глубоко, хотя и чисто исторически, уважал целесообразность татарского ига и разумно не хотел соваться в железный самотек истории, где ему непременно будет отхвачена голова.

Ночь, теряя свой смысл, заканчивалась; за окном землебитного жилища уже начал прозябать день, и небо покрылось бледностью рассвета: сырая и изможденная, всюду лежала еще ничем не выдающаяся земля, и лишь кое-где на ней стала шевелиться и вскрикивать разнохарактерная живность.

Вермо сидел неподвижно: он видел раннюю бледность мира в окне и слушал начинающееся смятение жизни. Однако это не был тот напев будущего, в который он беспрерывно и тщетно вникал, – это был обычный вековой шум, счастливый на заре, но равнодушный и безотрадный впоследствии.

Умрищев, потеряв интерес к гостю, снова приступил к своему медленному чтению старины, иногда улыбаясь какой-нибудь ветхой шутке, а иногда вытирая слезы сочувственной печали, тем более что он встретил описание того грустного факта, как однажды, при воцарении Грозного с неба пошел каменный и мелкозернистый дождь, отчего немало случилось повреждения тогдашнему историческому населению.

– Вот были люди и происшествия, – сказал Умрищев, утешаясь книгой, и стал читать вслух: – «Царь Иван захотел однажды на святки, имея доброе самочувствие, установить в Китай-городе баловство пищей. Для чего он указал боярину Щекотову привести откуда ни на есть в тот Китай-город до 70 сбитеньщиков, 45 харчевников, 30 крупенников, 14 обжарщиков и прочую пищевую силу по одному либо по два человека на каждую сортовую еду. Но люди торговые и промысловые откупились от той милости, дабы не соваться в неиспытанное, а сговорились меж собой есть до смерти добрые домашние щи либо тюрю». – Умрищев здесь отринулся от чтения и довольно улыбнулся: – Да у нас в один районный центр требуется больше пишевиков, чем во весь Китай-город: минималисты были, черти, одну тюрю любили!



## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.